

Леонид Столович

## Военное отрочество

версия для печати (74091)

Леонид Столович

Леонид Наумович Столович родился в 1929 году в Ленинграде. Окончил филфак ЛГУ. Доктор филологии, почетный профессор Тартуского университета, академик Академии гуманитарных наук (Санкт-Петербург), действительный член Независимой академии эстетики и свободных искусств (Москва), член Кантовского общества (ФРГ), Российского философского общества, Международной ассоциации эстетики, Американского общества эстетики, почетный профессор Южно-Китайского университета (Нанкин), член СП Эстонии. Поэт. Живет в Тарту (Эстония).

## ВОЕННОЕ ОТРОЧЕСТВО

### Запах гари

Мой отец работал на военном заводе (уже после войны я узнал, что на нем делались знаменитые ракеты “катюши”). Завод должен был эвакуироваться из Ленинграда. Папа, мама и я сели в поезд. Отец был назначен начальником эшелона, который должен был доставить в Казань оборудование и работников завода с семьями. Вагоны были купейными, и все радовались, что едем в таких хороших условиях. Но наш эшелон дошел только до станции Мга. О дальнейшем моя мама так писала в своих воспоминаниях: “Часов в одиннадцать утра был приказ всем выйти из вагонов и пойти в глубь леса. Закрыли купе и побежали в лес. В лесу была команда всем лечь. Было очень сыро, но мы пролежали до девяти вечера. Над нашими головами шли воздушные бои. Недалеко от нас немецкие самолеты сбрасывали бомбы, и мы слышали звуки их разрывов. Дети прижались к своим матерям и сначала молчали, но потом всем стало страшно, и начались плач и крик. В 9 часов вечера дана была команда: „Всем по вагонам!“ Когда все собрались, выяснилось, что немцы в четырех километрах от нас, дорога ими перекрыта и дальше ехать нельзя. Перед нашим эшелонам горел на станции Мга состав, как говорили, завода „Красный треугольник“. Мы видели, как тянулись отступающие войска. Недалеко от нас шли бои. Началась паника. Некоторые люди собрались пешком возвращаться в Ленинград, взяли необходимые вещи, привязали к спине маленьких детей и пошли. Оставшиеся заперлись в купе и стали ждать, что будет. В три часа ночи наш поезд задним ходом отправился в обратный путь. Едва мы проскочили станцию Горы, как начался артиллерийский обстрел. Под него попали те люди, которые пошли пешком, и многие погибли или были ранены, о чем мы потом узнали от тех, кому удалось благополучно пройти этот путь. Рано утром наш поезд возвратился в Ленинград. В Ленинграде уже на вокзале чувствовалось, что война вступила в наш город. Пахло гарью”.

Все это запечатлелось и в моей детской памяти. Я отчетливо помню впервые испытанный страх, когда слышал резкий гул немецких самолетов и разрывы недалеко падающих бомб. Помню я и этот сладковато-противный запах, когда наш поезд возвратился в Ленинград.

Больше поезда по этой железной дороге, как и по другим, не ходили: оказывается, на наших глазах замкнулась блокада города. Как записано в хронике блокады в Музее обороны и блокады Ленинграда, “29 августа войска противника захватили станцию Мга, перерезав Северную железную дорогу. Утром через станцию прошли последние два железнодорожных состава из Ленинграда”. Наш поезд уже не прошел.

Это было в самом конце августа 1941 года. В блокированном Ленинграде я с родителями находился в самые тяжелые месяцы.

### Отступление в довоенное детство

Чтобы представить душевное и духовное состояние 12–13-летнего блокадника, нужно вернуться в его предвоенное детство. Мой отец, Столович Наум Борисович (1903–1962), был петербуржцем в третьем поколении. Его дед, мой прадед, скончавшийся в 1900 году, покоится на Преображенском еврейском кладбище. Он был кантонистом и после 25-летней службы в царской армии получил право жить вне черты оседлости. Отец жил на Выборгской стороне Петербурга. Он окончил трехклассное городское училище и учился в ремесленном училище, после чего трудился на разных заводах в качестве рабочего. В 1930 году, уже после моего рождения, он поступил в Политехнический институт, предварительно окончив курсы по подготовке в технические высшие учебные заведения (рабфак). В моей ранней детской памяти студенческие собрания, на которые меня брал с собой отец. По его словам, осужденные потом в троцкизме делали мне бумажные кораблики. Став инженером, отец работал перед войной на различных заводах, имевших оборонное значение. Мать, родом из Днепрпетровска, была экономистом на кондитерской фабрике им. Самойлова.

Жили мы на Фонтанке, 127, в 12-метровой комнате в коммунальной квартире. Поскольку в Ленинграде не было никаких надежд получить большую жилплощадь, отец согласился поехать в качестве главного инженера в литовский город Шауляй, который в составе всех прибалтийских республик недавно вошел в состав Советского Союза. В моем архиве сохранилась правительственная телеграмма, подписанная заместителем Народного Комиссариата боеприпасов Союза ССР, предписывающая немедленно командировать отца 15 июня 1941 года в Москву для оформления нового назначения, а 26 июня, уже после начала войны, отец ответил телеграммой о том, что “выехать из Ленинграда невозможно”. В общем, нам повезло. Вспоминаю, как в самом начале войны мы с отцом пришли на Васильевский остров к его сослуживцу, который тоже был направлен в Шауляй и успел туда выехать еще без семьи. Он рассказывал, с какими трудностями ему удалось буквально бежать от стремительно наступавших немецких войск.

В моей семье ничего не способствовало развитию моих гуманитарных интересов, тем более что отец не только сам был человеком, ориентированным сугубо технически, но, наученный опытом политической борьбы 20-х и преследованиями и террором 30-х годов, сторонился от всяких идеологических проблем (когда я окончил в 1947 году школу с золотой медалью и поступил на философский факультет Ленинградского университета, отец сказал, что я *испортил* золотую медаль). Единственный журнал, который мы выписывали, был “Техника — молодежи”. Из имеющихся у нас нескольких книг был, правда, томик Маяковского, к которому отец очень хорошо относился и рассказывал, как он ходил на его выступления, восхищаясь остроумными ответами на колкие вопросы. Тем

не менее ищущий эти строки его сын уже в десятилетнем возрасте увлекся поэзией и начал сам писать стихи.

Это увлечение началось в 1937 году. Я не знал о том, что творилось в стране, хотя слышал, как родители и соседка по квартире шепотом говорили о том, что кого-то сняли, кого-то взяли. Но было столетие со времени кончины Пушкина, и об этом было много разговоров, звучало из репродукторов, писалось в журналах и газетах, в том числе детских. Я до сих пор храню номер журнала “Мурзилка”, целиком посвященный Пушкину. Этот номер “Мурзилки” (№ 12 за 1936 год) растрепала по недомыслию моя трехлетняя двоюродная сестра Милка, чего я очень долго не мог ей простить. Я склеил его кусочками из газеты 1937 года. И сейчас видны отрывки газетного текста: “...отчеты о митинге...”, “Трудящиеся города Ленина... отчет о том, что далеко еще[не все враги]... народа разоблачены и не до [конца]... раскрыта их подлая контррев...[олюционная] работа против Советского госуда...[рства]... Доведем до конца разгром ко...[нтрреволю]...ционных змеиных гнезд троцки...[стов и их]... союзников — правых отщепенцев”.

На обложках школьных тетрадей изображались портреты Пушкина и сцена злополучной дуэли, вместо таблицы умножения — стихотворение Лермонтова “Смерть поэта”.

Сначала я не знал, кто такой Пушкин. Я даже думал, что это член правительства, как Сталин, Молотов или Ворошилов, поскольку до этого времени только такие лица удостоивались такой известности. Но после “Сказки о царе Салтане”, а особенно после того, как моя старшая двоюродная сестра Люся подарила мне большой том сочинений Пушкина, и я был потрясен “Русланом и Людмилой”, я уже знал, говоря словами Маяковского, “делать жизнь с кого”.

У меня хватило смелости какие-то из моих беспомощных детски-наивных стихов прочитать на олимпиаде детского творчества, сначала школьной, а затем и районной. Собственно говоря, я хотел участвовать в олимпиаде не как поэт, а в качестве декламатора. Но я решил прочесть свои стихи, вместо того чтобы учить чужие. Не помню уже, какое место я занял. Но главный результат всего этого был для меня потрясающ: меня направили в литературную студию Ленинградского Дворца пионеров, который помещался в бывшем Аничковом дворце на углу Невского и Фонтанки, куда и пройти можно было только по специальному пропуску. В студии меня прикрепили к литературному консультанту *Глебу Сергеевичу Семенову*. Тому самому Глебу Семенову, который и сам был прекрасным поэтом, и в послевоенное время стал пестователем многих ленинградских поэтов, как потом говорили — “гвардейцев Глеб-Семеновского полка”. Тогда ему было 22 года. Он носил небольшие усики и казался мне чуть ли не пожилым (мне-то было еще 10–11). Глеб Сергеевич без тени юмора отнесся к моим виршам, находил даже в них удачные строчки и учил классическому стиху. Я принадлежал к младшим студийцам и с восхищением смотрел на старших.

Мои первые литературные наставники внушали нам, что не нужно стремиться напечатать свои стихи. Но вот настали каникулы и в школе, и во Дворце пионеров. Я окончил четвертый класс и первый раз в жизни сдал переходный экзамен. Конечно, такое событие не могло не быть предметом моего нового стихотворения. Это стихотворение “Я сдал!” я послал в пионерскую газету “*Ленинские искры*”, выходившую в Ленинграде, несмотря на то, что меня слегка мучила совесть за нарушение запрета своих литературных наставников. И вот 31 мая 1941 года, за три недели до начала войны, на первой странице газеты я увидел стихотворение, подписанное: *Леня СТОЛОВИЧ, 227-я школа*. Оно заканчивалось таким четверостишием:

Я сдал экзамен в первый раз!

Теперь настанет скоро лето.

Над озером в вечерний час

В тиши читать я буду Фета.

Посылал я в газету стихотворение, написанное в несколько другом размере, благодаря чему дело не ограничивалось одним Фетом:

Над озером в тиши в вечерний час

Читать я буду Пушкина и Фета.

Но я великодушно простил редакцию за самовольную переделку пятистопного ямба в четырехстопный (я уже знал эти ритмические тонкости благодаря Глебу Сергеевичу) и готов был осенью держать ответ перед своим наставником за первую свою публикацию. Но не пришлось ни над озером в тиши читать Пушкина и Фета, ни отвечать за свой дерзкий поступок.

В июне я впервые попал в Академический драматический театр им. Пушкина на спектакль “Горе от ума”. Пьеса Грибоедова произвела на меня ошеломляющее впечатление, и я ходил по книжным магазинам в поисках этого доселе неизвестного мне произведения. И вот в полуподвальчике книжного магазина на Невском, около кинотеатра “Аврора”, когда я очередной раз спрашивал “Горе от ума”, начали передавать речь Молотова о начале войны. Было 12 часов 22 июня. (Комедию Грибоедова мне все-таки удалось достать уже в дни Ленинградской блокады, и я ее всю выучил наизусть.) Придя домой, я тут же написал стихотворение, заканчивающееся словами:

Спокойно сядем мы за парты —

Страны сильнее нашей нет.

Пятно коричневое карты

Мы перекрасим в алый цвет!

Стихотворение я тотчас послал в *уже свою* газету “*Ленинские искры*” даже с патриотическим рисунком. Но стихотворение не напечатали.

Война стала рубежом моего детства. Наступало военное отрочество.

### **Блокада глазами подростка**

Начались артиллерийские обстрелы города, а потом и воздушные налеты (немцы надеялись в скором времени взять город и поэтому первое время старались не очень его разрушать, хотя по планам Гитлера “Петра творенье” должно было быть полностью уничтожено). Помню дни, когда было по 10–11 воздушных тревог и налетов.

Наша семья жила на шестом этаже в доме на Фонтанке, 127. Во время очередной воздушной тревоги меня с бабушкой отправили к знакомым, жившим во дворе нашего дома на втором этаже. Это было 6 ноября. По репродуктору передавали выступление Сталина во время очередной годовщины Октябрьской революции. Когда тревога повторилась, бабушка и я пошли в бомбоубежище. Я грыз шоколадку, которой в этот день заменили порцию хлеба. Прошло недолгое время, как над нами раздался страшный треск. Полутонная бомба пробила над нами семь этажей, но, к счастью, до нас не добралась и выход из бомбоубежища не завалила. Наша квартира, которая была в другом флигеле дома, тогда не пострадала, но бомба, попавшая в башенную часть нашего дома на Фонтанке (на углу Фонтанки и проспекта Майорова, ныне, как и при Достоевском, Вознесенского проспекта), была не единственной сброшенной самолетом, летевшим вдоль блестящей при луне Фонтанки. Одна из них разорвалась около булочной, перед которой стояла большая очередь.

Уже страшной зимой 1941–1942 годов я с отцом ходил на разбитую часть нашего дома выпиливать косяки дверей и рамы окон на дрова для буржуйки. Они очень хорошо горели, и папа называл их “пожарными”.

Наступили длинные блокадные дни и страшные ночи. Я, как и другие мальчики с нашего двора, обученные тушить зажигательные бомбы (“зажигалки”), иногда дежурил на чердаке и на крыше нашего семиэтажного дома. С начала учебного года я пару раз сходил в школу. Нам дали дрожжевой суп. Школа больше не работала. Я был предоставлен сам себе, и основным моим занятием стало писание стихов. Точнее сказать, я их не писал, а записывал. Все время я сочинял про себя, где бы я ни находился. И это меня спасало, хоть на время снижало чувство голода и умеряло чувство страха. Я, одиннадцатилетний мальчик, чувствовал себя причастным к историческим событиям, в которые оказался невольно вовлеченным. Сами стихи были очень слабыми, и если и имели какую-либо ценность, то только чисто документальную.

Я сейчас перебираю потертые листочки, вырванные из неоконченных школьных тетрадей, на которых то карандашом, то чернилами записаны были все сплошь патриотические стихи. Они посвящались событиям хоть в чем-то положительным: мужеству защитников Отечества, их хоть каким-то успехам. Я с родителями жил в холодной комнате с окнами, выходящими на Фонтанку. Это была не наша крохотная комнатка, а большая комната семьи маминой сестры, находившейся в эвакуации, в которую мы перебрались во время блокады. Перед моими глазами был разрушенный немецкой авиацией дом, за которым виднелся заброшенный Троице-Измайловский собор, еще до войны превращенный в какой-то склад. Моя мама писала сестре, думая перехитрить военную цензуру, не разрешавшую писать о чем-либо плохом: “Чтоб у Гитлера был такой вид, какой имеет дом напротив!” Глядя на этот дом, я писал стихи, посвященные невероятному событию: наша авиация смогла прорваться к самому Берлину и сбросить на него несколько бомб! И я заканчивал свое стихотворение, совершенно искренними, но чужими словами:

Теперь узнал фашистский сброд,

Что, несмотря на расстояние,

Мстя за измученный народ,

Берлин бомбить мы в состоянии.

Нельзя сказать, что я не знал о неприятных явлениях, связанных с военными событиями. Мой отец, который никогда не читал Сталина, говорил в первые дни войны, имея в виду довоенное бахвальство нашей пропаганды (“наша граница на замке!”): “Да, наша граница была на замке, но ключ-то оказался не у нас!” И вокруг себя я видел ужасное: голодные люди, трупы, валявшиеся на улице, страшный голод в нашей семье, смерть от голода своей бабушки и соседей по квартире. Отец и я уже слегли от дистрофии. Целый месяц в феврале 1942 года в нашей обезлюдевшей коммунальной квартире находились трое еще живых — мама, папа и я — и три покойника, в том числе моя бабушка. Но обо всем этом я не писал. Мой детский “классицизм” не допускал в стихи ничего страшного и ужасного, ничего не соответствующего тогдашним идеологическим установкам.

Может быть, если бы я писал дневник, как некоторые другие блокадные дети, я был бы более “реалистичным”, ближе к фактам обыденной жизни. Я не отразил в своем творчестве даже такой свой поступок, который, наверно, является самым большим подвигом в моей жизни. В дни блокады почта не доставлялась по квартирам, как до войны, а поступала в контору домоуправления. И вот однажды, в январе 41-го, перебирая письма, я нашел хлебную карточку... И отнес ее по написанному на ней адресу. Это было в то время, когда жители города получали, говоря словами Ольги Берггольц, “сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам”. Потеря карточки означала верную смерть, хотя и карточка не спасала. Этот поступок я, исполненный патриотических чувств и растворявший себя через свои стихи в общей “великой борьбе”, считал само собой разумеющимся.

В январе 1942 года я написал стихотворение “Воспоминание (как я буду рассказывать друзьям о блокаде)”. Все плохое и страшное (“разрывы бомб, снарядов вой”, привычный вой сирен, голод и то, что “злбный враг от нас находится на шаг”) представлялось как бывшее в далеком прошлом, о котором я рассказываю друзьям уже много времени спустя, после того, как “бежала дикая орда”. Это было воспоминание о настоящем из будущего, о котором можно было только мечтать. Лишь с временной дистанции в полтора года, уже находясь далеко от Ленинграда, я написал воспоминание о ленинградской осени 1941 года — приведенное выше стихотворение “Ленинградская ночь”.

Я переносил в свои блокадные стихи газетные штампы и клише типа: “вражья свора”, “коричневая клика”, “фашистский сброд” и т. п. Стихи были лишены индивидуальности, которая невольно прорывалась лишь через детскую наивность, доверчивость к общепринятому и неуклюжесть выражений. Правда, была уже элементарная стихотворная грамотность. Учеба в младшей литературной группе Ленинградского Дворца пионеров не прошла даром.

Нашу семью спас счастливый случай. В феврале 42-го, когда умирала моя бабушка, к нам неожиданно с мешком картошки пришел дядя Жора — *Георгий Михайлович Алиев*, друг моей тети Жени, находившейся в эвакуации, и нашей семьи. Дядя Жора был человеком близким мне еще и потому, что он единственный из хорошо знакомых мне людей сам писал стихи и искренне поощрял мое литературное творчество. И он оказался нашим спасителем. Военврач второго ранга Георгий Михайлович был начальником военно-полевого госпиталя (как сейчас, помню его номер: ППГ — полевой подвижной госпиталь — 2236), стоявшего на другой стороне Ладожского озера, по ту сторону блокады, и обслуживавшего единственный путь в Ленинград через это озеро, Дорогу жизни, как ее по праву называли.

Дядя Жора приезжал к нам еще один раз с картошкой, уже после того, как мы с папой отвезли тело моей бабушки Песи (официально ее звали Прасковья Львовна), запеленатое в

простыню, в синагогу на Лермонтовском проспекте, которая захоронила ее в братской могиле на Еврейском кладбище. А 24 марта 1942 года две медицинские сестры взяли меня на грузовик, шедший из Ленинграда во фронтовую госпиталь дяди Жоры. Ехали мы по таявшему льду Ладоги, так что полколеса было в воде, и прибыли в прибрежную деревню Кобона, с которой начиналась Дорога жизни и где размещался тогда ППГ–2236. Так я стал “сыном полка”, а мои родители смогли выжить, имея дополнительную детскую карточку.

Начался “военный” период моей биографии.

### ППГ–2236

В военном госпитале, размещенном в прибрежной деревне Кобона, меня приняли как нельзя лучше. Накормили (правда, я после первой сытной еды заболел, и меня лечила милая *Лидия Михайловна Вашкевич*, детский врач до войны, ставшая затем женой дяди Жоры), сшили для меня военную форму. Это была “действующая армия”, линия фронта находилась всего в девяти километрах. Но там было гораздо спокойнее, чем в блокированном городе, хотя несколько раз и на нас совершались авиационные налеты. Летом госпиталь перебрался в лес и разместился в палатках и землянках.

Я старался помогать взрослым, чем мог. Читал раненым газеты и журналы, писал им письма домой. Были интересные встречи и знакомства. Один раненый был профессором географии и немного занимался со мной. Наш главный врач доктор *Заранкин* любил играть на скрипке, которую возил с собой. Подружился я и со старшиной, который говаривал: “Для меня, Ляксей, что чай с сахаром, что без сахара. Но с сахаром будет послаще”. Я научился ездить верхом, и мне даже дали лошадь, на которой я отвозил и привозил почту из соседнего села. У меня был свой револьвер, и я его часто разбирал и собирал, но никогда из него не стрелял.

Запечатлелся в моей памяти летний день, когда на полянке всему воинскому составу госпиталя зачитывался секретный приказ № 227 от 28 июля 1942 года Сталина как народного комиссара обороны Союза ССР, получивший название “Ни шагу назад!”. В нем говорилось о крайне тяжелом положении на фронтах, о том, что некоторые воинские части покрыли свои знамена позором. По этому приказу вводились “штрафные батальоны” и “штрафные роты”, хорошо вооруженные “заградительные отряды” в “тылу неустойчивых дивизий”, обязанные в случае паники и беспорядочного отхода частей “расстреливать на месте паникеров и трусов”.

Однако по-прежнему главным делом моей жизни были стихи. Приехав в Кобону, я написал:

Прощай, прощай, мой Ленинград!

Увижу ли тебя я снова?

Увижу ли твой Летний сад,

Собор Исакиевский суровый?

В апреле 42-го еще ничего не было известно, увижу ли я действительно свой родной город. Слово “Исакиевский” было принесено в жертву ритму. Почему-то этот собор мне

действительно представлялся “суровым”, но помянут он был не случайно: от дома на Фонтанке 127, где я жил, до Исаакиевского собора прямо по проспекту Майорова (мой папа — коренной петербуржец — его упорно называл Вознесенским проспектом) было 10, ну от силы 15 минут ходьбы. Я тут же разузнал, что Кобона была родиной известного поэта Александра Прокофьева, и даже разыскал его старого учителя<sup>1</sup>.

Основное внимание я уделял поэме “Ростов”. Почему поэма была именно о Ростове? Дело в том, что еще в конце ноября 1941 года Красная армия осуществила первую свою победу: она отбила от врагов захваченный ими город Ростов-на-Дону, который, правда, опять вскоре потеряла. В поэме не было ничего конкретного, кроме географических названий. Бои описывались в духе пушкинской “Полтавы”, с добавлением танков и самолетов.

20 мая армейская газета “*Фронтовой дорожник*” напечатала заметку “Самодетельный концерт”, в которой отмечалось: “На днях, в клубе Н-ской части состоялся показ художественной самодеятельности бойцов части, где комиссаром тов. Шейнин. В концерте приняли участие бойцы, командиры и медработники подразделений. Большое впечатление на слушателей произвел отрывок из поэмы „Ростов“, прочитанный автором, воспитанником одного из подразделений, 15-летним Леной Столович...” Я был очень горд таким откликом в печати, хотя в этой заметке мне было прибавлено три года, так как, видимо, писавший ее младший политрук не мог себе представить, что 12-летний мальчик может писать поэмы. Стихи были искренние и весьма несовершенные, хотя с четким ритмом и нормальными рифмами. “Большое впечатление на слушателей”, о котором писалось в “красноармейской газете”, произвел возраст автора.

Я упорно продолжал шлифовать свое произведение. В сохранившейся открытке “полевой почты” я писал 17 июля 1942 года родителям в Ленинград на Фонтанку, 127, кв. 9: “Здравствуйте Мама и Папа! Живу я хорошо. Жду вас. У нас идут дожди. Пишу стоя. Потому пишу не ровно. Поэму „Ростов“ кончил. Сейчас оконч. перерабатываю и после отпечатаю на машинке. Приезжайте. Л. Столович”.

Дело в том, что завод, на котором работал мой отец, все же должны были эвакуировать, но теперь уже через Ладожское озеро. По воспоминаниям моей мамы, она “получила письмо из госпиталя, что мальчика надо забрать, так как госпиталь будут перебрасывать в другое место и военная обстановка усложнилась. Я позвонила Георгию Михайловичу и попросила привести сына к пристани в Кобоне, к которой нас переправили через озеро и где должен был стоять эшелон. Но когда мы высадились с судна, поезда еще не было. Вдруг поднялся сильный ветер, а затем хлынул ливень, и мы оказались по пояс в воде, так как никакой крыши над головой не было. Вещи плавали в воде. Уже стало темнеть. Вдруг мы увидели, что к нам приближаются три всадника. Это был мой мальчик и двое сопровождавших его военных. Они подъехали к нам. Вагонов все еще не было. Сын и его „однополчане“ возвратились в госпиталь, а за нами в три часа ночи пришла подвода. Утро было солнечное, и удалось немного просушить вещи”.

Отец, правда, серьезно заболел, и его положили в госпиталь, а я с мамой в теплушке отправился в Казань, место расположения папиного завода.

### **Ленинград в Казани**

Ехали мы в теплушке целый месяц, добираясь до Казани каким-то окружным путем, через Свердловск. Когда мы наконец добрались до Казани, нас встретили на грузовике и



отвезли в большой спортивный зал, в котором было много других эвакуированных. Мама и я расположились на нашем багаже, расстелили привезенные с собой одеяла и заснули. Спали мы целые сутки, так что наши соседи по залу стали за нас беспокоиться. Через несколько дней маму и меня отвезли в одноэтажный домик на окраине Казани, в так называемой Академической слободе, на Кирпично-заводской улице, и поселили в одной из комнат дома, “уплотнив” его хозяев. Через месяц к нам приехал и подлечившийся в госпитале мой отец.

Так начался казанский период моей жизни. После годового перерыва я опять пошел в школу, в пятый класс, на год отстав от своих сверстников. Единственная одежда, которая была на мне, — это специально сшитые на меня военная гимнастерка с петличками рядового, штаны и сапоги. Можно себе представить, какое впечатление произвел на класс мальчик в военной форме, приехавший не только из блокадного Ленинграда, но из воинской части! Я был избран старостой класса и включился в школьную жизнь, даже отстаивал интересы своего класса перед директором школы.

В нашем классе, как и в других классах школы, располагавшейся в деревянном доме на улице Достоевского, учились как коренные казанцы, так и ребята, эвакуированные из различных мест, в основном из Москвы и Ленинграда. Моим другом стал Юра Ансеров, мама которого работала в знаменитом ленинградском Физическом институте (о пребывании этого института в Казани писал потом Василий Гроссман в своем замечательном романе “Жизнь и судьба”). В параллельном классе учился сын Якова Ильича Френкеля, одного из крупнейших физиков не только нашей страны, — Виктор Френкель, ставший впоследствии видным историком.

Между ленинградцами и москвичами, как водится, возникло соперничество, не столько личное, сколько связанное с принадлежностью к издревле соперничавшим городам. Мы, ленинградцы, очень гордились подвигом своего города и укоряли москвичей за панику в их городе во время наступления немцев осенью 41 года. Москвичи подтрунивали над нами за то, что мы ручку называли “вставочкой” (а как иначе? Ведь в нее *вставлялось* перо!). Но это были “бои местного значения”. В общем жили мы дружно.

Школьные занятия не занимали у меня много времени. Учился я вполне прилично и за пятый класс получил похвальную грамоту с изображенными на ней портретами Ленина и Сталина. Прибегая с уроков домой, я целиком отдавался чтению художественной литературы и писанию стихов. Наверно, я никогда в жизни так много не читал, как в эти мои казанские годы.

По счастью, полностью сохранился мой детский архив, в том числе листки из блокнота, на которых я вел свой краткий дневник со 2 декабря 1942 года по 23 октября 1943 года. В течение всей осени 1942 года я писал военно-патриотические стихи, откликаясь на важные события войны, хоть как-то внушающие надежду на будущую победу. 29 ноября 1942 года было написано стихотворение “Сталинграду”, где констатировалось:

Три месяца кровавый бой

Не утихал в степных просторах.

Над неприступною стеной

Лежат немецких трупов горы.

С мая 1943 года я стал ходить на литературные вечера, организуемые по субботам русской секцией Союза писателей Татарии, которые проходили в помещении Казанского музея А. М. Горького. С этого времени я включился в жизнь литературной группы, постоянно посещающей литературные вечера. То, что там читалось, мне не казалось интересным. Казанские литераторы особым талантом не отличались. Произведения большинства из них были не менее идейно примитивны, чем мои военно-патриотические писания, но у них было больше литературной опытности, чем у тринадцатилетнего подростка. У меня установились добрые отношения с казанскими литераторами. Я был самым младшим и единственным подростком, включившимся в деятельность секции, и меня считали как бы “сыном секции” и верили в мои творческие возможности.

В ноябре 1943 года написал я песню о песне, которая начиналась и заканчивалась такими стихами:

О песня! Великая русская песня!

Частица души ты людской.

Летишь над простором — то радости вестник,

То полная хмурой тоской.

Это стихотворение я прочел, выступая вместе со “взрослыми” членами нашей секции, по радио, и какой-то композитор (к сожалению, не помню, как его звали) написал даже на него музыку, и оно потом само исполнялось как песня. Композитор хотел со мной сотрудничать и просил меня написать слова для новой его песни. Целый день я провел в его квартире у рояля, но мне ничего не удалось выжать из себя.

Пожалуй, лучшим моим стихотворением, написанным в Казани в 1944 года, стал сонет “Часы”, навеянный старинными часами, стоявшими на подоконнике комнаты-кельки моего старшего наставника-друга Валентина Людвиговича Сымоновича, приобщившего меня к мировой литературе<sup>2</sup>.

Ход мерный раздается. Блеск заката

На бронзе чуть заметно трепетал.

Здесь нет камина, узких окон ряда,

Здесь нет высоких сводов мрачных зал,

Для многих поколений где когда-то

Неумолимый голос их звучал.

Четыре века этот луч заката

Ласкал все нестареющий металл.

Сижу, тоской неясно объятый.

Гляжу на них. Прощальный блеск заката

Скользнул последний раз по бронзе и потух...

Зловеще слух тревожит вещей звук,

А стрелка медленно ползет по циферблату

И чьей-то жизни завершает круг.

Наверно четырнадцатилетний мальчик не мог бы так завершить стихотворение, если бы он не видел не однажды, чем завершается человеческая жизнь. Абстрактно-философская формула, по-видимому, снимала психическое напряжение, вызываемое конкретными воспоминаниями. Пережитое в Ленинградской блокаде и вообще все, что было связано с войной, меня досрочно взрослило, как и мои последующие стихи, что придавало им необычное для, в сущности, еще ребенка, серьезное не по годам смысловое звучание, озадачивавшее впоследствии моих литературных наставников.

Только написав стихотворение “Часы”, я узнал в нем форму сонета. Наверно, бессознательно сказалось чтение классических сонетов, начиная с Петрарки. Очень он понравился руководительнице секции, директору Казанского музея А. М. Горького Марии Николаевне Елизаровой. Она даже выразила желание его опубликовать в очередном сборнике секции. Но он никак не влезал в готовящийся сборник “За урожай победы!”, редактор которого Мария Николаевна извещала читателей на следующей за титулом странице:

“Настоящий сборник создан силами русской секции Союза писателей Татарии. Произведения, помещенные в сборнике, предназначены для использования на колхозной эстраде и для громкой читки на полевых станах”.

Секционная жизнь была, несомненно, важна для 13–14-летнего мальчика, приобщенного к литературным делам и благодаря этому расширившему круг своего общения, недоступный обычному школьнику пятого-седьмого классов (после окончания пятого класса я, стремясь не отстать от своих ленинградских соклассников, в течение лета 1943 года самостоятельно освоил материал шестого класса, сдал по нему экзамен и поступил в седьмой класс уже мужской школы, так как та, в которой я учился, стала женской).

Помню, как однажды в Казань приехали для выступлений знаменитый артист Игорь Ильинский и известный поэт Иосиф Уткин. Я уже знал, что Иосиф Уткин — автор написанной еще в 20-е годы стихотворной “Повести о рыжем Мотэле”, что он, наряду с А. Безыменским и А. Жаровым, был популярным комсомольским поэтом (позже я узнал, что Маяковский, объединяя фамилию Уткина с Жаровым, говорил о поэте “Жуткине”). Восемнадцатилетнюю Иру Касаткину, входившую в нашу секцию, и меня секция попросила сопровождать по Казани московских гостей, и мы были у них в гостинице и на концерте. Игорь Ильинский читал Чехова. Иосиф Уткин — свои военные стихи, которые мне очень понравились своей нешаблонностью.

Конечно, я не смог удержаться, чтобы не почитать Иосифу Уткину свои стихи, но его интересовала красивая Ирочка Касаткина, а не я. Вскоре дошла весть о том, что поэт погиб в авиационной катастрофе, возвращаясь с фронта...

В секции я узнал, что, оказывается, в Казани живет... внучка Баратынского, стихи которого я уже знал и очень высоко ценил. И вот я отправился к ней в гости. Помню, что жила она в каком-то старом доме, во дворе которого был каретный сарай. Старушка (мне

сейчас трудно судить, сколько ей было лет, так как по моим тогдашним меркам и восемнадцатилетняя Ира Касаткина не была особенно молодой) приняла меня приветливо в комнате, в которой возились дети и звучала французская речь. Из разговора я запомнил лишь рассказ о том, что в семействе Баратынских было четыре поэта.

До Казани я был советским мальчиком, который если и соприкасался с дореволюционным прошлым, то только в рамках официального, разрешенного искусства. От родителей я о нем знал очень мало: в 1917 году отцу было 14 лет, а маме — 8. Но вот в казанском домике, куда нас поселили, жила еще одна эвакуированная семья из Ленинграда. Ее глава — горбатый инженер, работавший в каком-то военном ведомстве. Жена его — властная, но культурно-интеллигентная дама, полная и, как говорится, со следами бывлой красоты на благообразном лице. У них была дочь, старше меня на пару лет, рыжая Тата, которая, несмотря на трудности военного времени, училась в музыкальной школе и играла на рояле. Так вот оказалось, что первый муж этой дамы был морской офицер, погибший в Цусимском сражении 1905 года, еще во время русско-японской войны. Эта дама (я, к сожалению, забыл ее фамилию) благосклонно относилась к мальчику, много читающему и пишущему стихи, и рассказывала мне разного рода подробности из жизни неправдоподобно далекого времени.

Но подлинным подарком судьбы было мое знакомство с Еленой Николаевной Верейской — детской писательницей, приехавшей из Ленинграда. Елене Николаевне было в то время 57–58 лет (год ее рождения я установил по дополнительному тому Краткой литературной энциклопедии, в которой ей посвящена краткая справочная статья). Она была совершенно седая, но помню ее неизменно бодрой, жизнерадостной, энергичной. Все время ее сопровождал муж — Федор Романович, небольшого роста, с седой бородкой клинышком и с необычайно живыми темно-кариими глазами. К моему огорчению, я не знаю его фамилию (не было случая спросить об этом), но, судя по разговорам, он был биологом, многие годы работавшим в Институте эволюционной биологии, близким другом академика Орбели. Федор Романович был вторым мужем Елены Николаевны. Первый ее муж — один из лучших русских графиков Георгий Семенович Верейский (1886–1962). От первого брака у Е.Н. было два сына. Младший — Орест Верейский, замечательный художник-график, друг А. Т. Твардовского и лучший иллюстратор “Василия Теркина”. Несмотря на то, что у Е. Н. возникла новая семья, отношения с Г. С. Верейским оставались дружескими, и они жили в Ленинграде в одной квартире.

Е. Н. отнеслась ко мне очень тепло. Свою маленькую детскую книжечку, написанную стихами, “Журка и Шурка”, вышедшую в Казани в 1944 году, она подарила мне с такой надписью:

*“Милому Лене Столовичу на память о наших совместных возвращениях домой с собраний Русской Секции, — возвращениях, насыщенных поэтическими беседами. Автор Е. Верейская. 18.II.44”.*

Смею сказать, дружеское расположение ко мне Е. Н. продолжилось и после нашего возвращения в Ленинград и моего переезда в Эстонию в 1953 году. Я ее навещал в квартире на Большом проспекте Васильевского острова, переписывался с ней. В 1956 году я получил от нее в подарок сборник ее рассказов “Памятный день” (Лениздат, 1955), а в 1961 году — детскую книжечку “Джихон Финаф”, изданную в Ленинграде в 1960 году с рисунками ее сына — Ореста Верейского. На книжке надпись: “Дорогому Лене Столовичу от старого друга-автора. 3.II.61 г.”. Скончалась она в 1966 году.

Оказалось, что Е. Н. — дочь одного из крупнейших историков России — Николая Ивановича Кареева. Его имя как историка стоит в одном ряду с Н. М. Карамзиным, С. М. Соловьевым, В. О. Ключевским. Но Н. И. Кареев менее известен, чем историки, посвятившие свои исследования истории России. Он занимался преимущественно историей Западной Европы, написавший классический семитомный труд “История Западной Европы в Новое время”, изданный в 1892–1917 годах, к сожалению, ставший библиографической редкостью и до сих пор не переизданный. Помимо этого, Н. И. Кареев был видным русским философом, занимавшимся философией истории, социологом и историком социологии. Но в советское время все это было предано забвению. Е. Н. мне много рассказывала о своем отце. Для меня это было своего рода приобщение к неведомой мне культуре и к истории, той истории, которая была не на советской поверхности, а в глубинах времени, которые меня все больше начинали интересовать.

Тот факт, что ее отец не разделил судьбу многих русских ученых, высланных из страны или репрессированных, Е. Н. объясняла только одним: оказывается, сам Карл Маркс в письме к русскому историку, социологу и правоведа М. М. Ковалевскому назвал “превосходной” диссертацию Н. И. Кареева “Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века” (1879), а позже и Энгельс ее высоко оценил (см.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 34, с. 286; Т. 37, с. 125).

В моей памяти запечатлелся рассказ Е. Н. о смерти ее отца. Николай Иванович в забытии читал наизусть “Божественную комедию” Данте на итальянском языке. Потом прервал это чтение. Прочел “Вакхическую песню” Пушкина и после слов: “Да здравствует солнце, да скроется тьма!” — скончался.

Е. Н. внешне вполне лояльно относилась к существующей власти и была патриотически настроена, особенно во время войны. Она писала для детей и на историко-революционную тему. Но для нее не все было так просто. Чувствовалась обида на полное забвение памяти об ее отце, книги которого можно было найти только в антиквариате. Не могла не помниться трагическая судьба многих хорошо ей знакомых людей. Только в конце своей жизни в письме от 12 января 1961 года она мне написала, что символом веры ее жизни был призыв: “Держаться! Держаться!”.

Русская секция Союза писателей Татарии, где я стал своим, дала мне возможность приобщиться к новым литературным знаниям и познакомиться с замечательными учеными-филологами. В Казани находились в это время сотрудники Института литературы Академии наук, а Казанский музей А. М. Горького и литературная секция организовывали публичные лекции, которые я с интересом слушал и воспринимал в меру своих возможностей. Это были лекции старшего научного работника Академии наук Николая Ивановича Мордовченко, научного работника Академии наук и докторанта Дмитрия Евгеньевича Максимова. Слушал я и лекции известного антрополога Я. Я. Рогинского. Николай Иванович Мордовченко стал впоследствии профессором Ленинградского университета, научным руководителем Юрия Михайловича Лотмана. Дмитрий Евгеньевич Максимов был уже в то время выдающимся знатоком творчества Александра Блока. Когда он преподавал в Ленинградском университете, его ученицей была Зара Григорьевна Минц, жена Ю. М. Лотмана, посвятившая А. Блоку свои основные литературоведческие исследования.

Благодаря этим лекциям и общению с читавшими их учеными я в своих литературных познаниях далеко выходил за рамки школьной программы. Летом 1944 года я даже проводил экскурсии в Музее Горького. Благодаря общению с литераторами я многое узнавал из того, что было если не под прямым запретом, то, во всяком случае,

малоизвестно. Об Александре Блоке я впервые узнал от Дмитрия Евгеньевича Максимова (1904–1987), который нашел во мне благодарного слушателя стихов своего любимого поэта. Дмитрию Евгеньевичу я очень многим обязан: мое литературное развитие — от него. Конечно, я читал ему свои стихи. Он тактично и благожелательно относился к стихотворному творчеству 13–14-летнего мальчика, целиком поглощенного поэзией. Особой критике он меня не подвергал, но советовал прочесть то одного, то другого поэта. От него я впервые (правда, это было несколько позже, уже в Ленинграде) услышал о стихах запрещенного в то время Николая Заболоцкого. Но еще в Казани он мне читал стихи Анны Ахматовой, с которой был лично хорошо знаком. Однажды он прочитал мне вариант “Поэмы без героя” по машинописи, полученной им в письме из Ташкента от самой Анны Андреевны.

### **Возвращение в Ленинград**

В июле 1944 года я с мамой возвращался в Ленинград (отец еще оставался в Казани до 1946 года). Мария Николаевна Елизарова на всякий случай дала мне такую бумагу, заверенную ее подписью и печатью:

#### *ХАРАКТЕРИСТИКА*

*Дана настоящая характеристика ученику 8-го класса Лене Столовичу в том, что он как молодой автор-поэт принимал активное участие в общественной жизни русской секции писателей г. Казани.*

*За период пребывания в секции он вырос и в творческом отношении. Со своими стихами Леня Столович выступал неоднократно на творческих вечерах, а также по радио. В альманахах приняты два стихотворения “Ленинградская ночь” и сонет “Часы”.*

Наша комната в квартире № 9 на Фонтанке, 127 была непригодна для жилья. В нее угодил снаряд. Из наших вещей почти ничего не осталось. Окна были разбиты. Валялись куски мебели. Уцелела родительская никелированная кровать. Деревянный шкаф, стоявший у самой двери, развалился. Большое зеркало, некогда вправленное в него, упало на изразцовую печь и, удивительное дело, не разбилось. Мы поселились в квартире двоюродного брата отца — Владимира Иоффе — на Майорова, 47. Эта квартира была недалеко от нашего старого жилья, в том же квартале, расположенном по проспекту Майорова между Фонтанкой и Садовой. В квартире своего двоюродного дяди Володи и его жены тети Лизы я часто бывал еще до войны, когда был жив их сын Толя, погибший во время Сталинградских боев.

В той школе, в которой я учился до войны, я не мог продолжить свою учебу, так как она была “неполная средняя”, а я должен был поступать в восьмой класс. Меня направили в мужскую 252-ю среднюю школу, которая располагалась в бывшем гимназическом здании на Крюковом канале, прямо напротив великолепной колокольни Никольского собора, созданной Чевакинским в середине XVIII века. Место это было удивительное, неизменно привлекавшее художников и фотографов. Вообще все вокруг было насыщено памятниками культуры, которые оживали в моем воображении. На другой стороне Крюкова канала, напротив Никольского собора (одного из немногих в то время действующих соборов), находился дом, принадлежавший другу Пушкина Н. В. Всеволожскому, в котором собиралось в 1819–1820 годах вольнолюбивое общество “Зеленая лампа”. В его заседаниях участвовали и молодой Пушкин, и другие русские

литераторы, будущие декабристы. Идя в школу, я каждый день проходил по Садовой мимо дома, в котором Лермонтов написал свое знаменитое стихотворение “Смерть поэта”. Очень близко от школы находился Мариинский театр, носивший в то время имя Кирова. Многие мои соклассники, и я в том числе, не пропускали ни одной премьеры. Дважды я видел на этой сцене Галину Уланову.

До войны мои самостоятельные передвижения по городу были ограничены. Теперь же я, уже пятнадцатилетний, мог ходить и ездить на трамваях и автобусах, а также на отцовском велосипеде, куда хотел. Да и мое знакомство с литературой давало мне возможность осваивать литературный Петербург. Мои школьные товарищи и я жили в самом центре Петербурга Достоевского. Одна трамвайная остановка отделяла дом, в котором я жил, от Сенной площади, которую мы все называли Сенной, а не площадью Мира, как ее тогда именовали. Фонтанка, Грибоедов канал, Мойка таили в себе необычайную поэзию. Моим любимым маршрутом для прогулки был проспект Майорова до Исаакиевской площади и дальше — к Медному всаднику и Неве.

Возвратившись в Ленинград, я вскоре навестил Дмитрия Евгеньевича Максимова. Он жил на площади Тургенева, всего за три трамвайных остановки от моего дома. По его совету я стал посещать литературный кружок хорошо известного в Ленинграде литературоведа, крупного специалиста по творчеству Лермонтова Виктора Андрониковича Мануйлова. Это литературное объединение работало при Ленинградском Доме учителя в бывшем Юсуповском дворце на Мойке, в том самом, где был убит пресловутый Распутин. Дворец сохранил свой роскошно-эkleктичный интерьер. Все свои литературные связи, знакомства и дружбы В. А. дарил нам, приглашая почти на каждое заседание почтенного или еще только вступающего в литературу писателя, поэта. К нам приходили Ольга Форш, Всеволод Рождественский и молодые еще Михаил Дудин, Сергей Орлов и другие. Они читали нам свои рассказы и стихи, делились воспоминаниями. И сам В. А. был великолепным рассказчиком.

Однажды в начале весны 1946 года по приглашению Виктора Андрониковича Мануйлова в его литературный кружок пришел Глеб Сергеевич Семенов. Тот самый *Глеб Сергеевич*, который был моим первым литературным наставником в довоенном Дворце пионеров и о встрече с которым я мечтал еще в Казани! Точно не могу сказать, вспомнил ли он десятилетнего мальчика с его детскими стихами о Пушкине, Чкалове и рыцаре, отсекающем волку голову по самые плечи. Однако моего узнавания своего первого литературного учителя оказалось достаточно, чтобы он позвал меня опять во Дворец пионеров, где продолжала жить и творить литературная студия, руководимая уже непосредственно самим Глебом Сергеевичем.

У меня и некоторых моих школьных друзей было одно почти ритуальное действие, вырывавшее нас из скучной обыденности. Это обход после школьных занятий магазинов книжного антиквариата. После гибели в блокадном Ленинграде почти миллиона людей оставалось множество книг, хотя и их немало сгорело в печах и буржуйках. Эти книги попадали в магазины “старой книги”, которых в городе было много, особенно на Литейном проспекте. Посещал я и Лавку писателей на Невском проспекте, вблизи Аничкова моста через Фонтанку. Книги стоили необычайно дешево. Конечно, роскошные издания классиков Брокгауза и Ефрона или раритеты были доступны только людям очень состоятельным, но книги рядовые, с точки зрения дельцов книжного рынка, однако для нас, школьных интеллектуалов, обладавшие подлинной ценностью, можно было купить действительно за копейки.

Но где добыть эти копейки? В ход шли карманные деньги, выдаваемые родителями. Основной же источник книжных денег был следующим. В школе нам ежедневно выдавали по куску хлеба. Разумеется, в последний военный и первый послевоенный год он был не лишним. Но, сглатывая слюну, мы этот кусок продавали с рук у ближайшей булочной (чаще всего это была булочная на углу Садовой и Майорова, “Филипповская”, так как до революции она принадлежала Филиппову) и на вырученные деньги шли покупать старые книги.

В 1978 году мой школьный друг *Яша Любарский* (Яков Николаевич Любарский [1929–2003] стал профессором классической филологии Ленинградского университета и крупнейшим в России специалистом по Византии) подарил мне вышедшую в издательстве “Наука” свою книгу “Михаил Пселл. Личность и творчество. К истории византийского предуманизма” с такой надписью:

“Дорогому Лене Столовичу с любовью.

Не зря покупали мы книги,

Не зря продавали свой хлеб.

Теперь сами пишем мы книги,

Дабы заработать на хлеб”.

В начале августа 1946 года, буквально за неделю до зловещего Постановления ЦК, в Большом драматическом театре на Фонтанке состоялся вечер памяти Александра Блока. Мне удалось на него попасть благодаря тому, что отец Яши Любарского заведовал музыкальной частью этого театра. На этом вечере свои стихи о Блоке читали Михаил Дудин и Анна Ахматова. Когда Анна Андреевна появилась на сцене, весь зал встал и раздался буквально шквал аплодисментов. В Москве ее встретили таким же образом. Рассказывают, что, когда Сталину доложили об этом, он задал зловещий вопрос: “Кто организовал вставание?”

Когда я заканчивал школу в 1947 году и поступил на философский факультет Ленинградского университета, носившего имя гонителя Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, поэзия, старая и новая, стала для меня отдушиной в бездуховном мире конца 40-х — начале 50-х годов. Я читал Мандельштама, Блока, Ахматову (Цветаеву открыл я для себя несколько позже). Стихотворно осмысляя свою жизнь, я писал в 1988 году:

Конечно же, в жизни мне повезло.

Снаряды и бомбы надо мной пронесло.

Я выжил в блокадный сорок второй,

Когда умирал каждый второй.

В шестнадцать я знал, кто такой Мандельштам,

Что Анна Ахматова — не стыд и не срам.



Когда я возвратился в свой родной город, до конца войны оставалось меньше года. В это время происходил мой переход из военного отрочества в послевоенную юность. Но, как говорится в одной популярной телевизионной передаче, “это уже другая история”.

1 Поэт писал потом о своем родном селе:

Когда мой Ленинград узнал блокаду,

Моя Кобона думала о нем.

Она, чтоб билось сердце Ленинграда,

Не раз, не два стояла под огнем.

2 Подробнее о Валентине Сымоновиче см. кн.: *Леонид Столович. Стихи и жизнь*. Опыт поэтической автобиографии. Таллин: ИнГри, 2003. С. 40–45, 117–124, а также в кн.: *Игорь Кон*. Мальчик – отец мужчины. М.: Время, 2009. С. 481–482.